
Евгений Сологуб

Трактовка тишины

Рассказ

Перестукиваясь с ландшафтом, дорога раскачивала вагон. Радио шепелявило и шипело. Мужчина в бриджах и майке на боковушке, кряхтя, пшикнул банкой пива, лакомо вздохнул. Запах горько-кислого хмеля вмешался в плотоядность пространства. Вторую он выпил так же, как первую, — зажмурив глаза и упиваясь гортанной щекоткой.

Я не отреагировал на его протянутую ладонь. Тогда он поставил передо мной третью банку и сварливо заметил:

— Не переживай, еще есть.

Дождевые крапы на окне растягивались в ожерелья, хвойный лес походил на черное полотно пилы.

— Я вообще-то Михаил, — кисть какое-то время постояла между нами и заплясала пальцами на глянцевитой столешнице.

Я случайно задел Мишу взглядом: губы расползлись по лицу, колкий нос удлинился, красно-кракелюрные яблоки полезли из орбит.

— Ну, как хочешь.

Миша обиженно допивал пятую, сморщив тело в углу.

Соседние купе молчали, но через какие-то минуты после того как Миша захрапел, в проходе поселился детский плач. Его успокоил цокот погремушки и щебетание матери.

Ночью я вышел подышать и закашлялся от перронной мокряди. Фонари нимбоносно висели в черничной ночи. Бесформенными призраками плавал сигаретный дым, а проводник — усатый и сальный молодой человек с ежистыми глазками — внимательно смотрел в даль. Я проследовал за его взглядом, но увидел только голые сети деревьев и чалые сгустки снега под ними.

Я вернулся к себе. Из-под полки достал ободранный саквояж и вышел на перрон. Окурки стаями светлячков разбились о стылый и мокрый асфальт. Поезд тронулся, заглушив хрюплое: «Запрыгивай в любой!».

Дорога, затравленная ледяной коркой, одиноко блестела. Под ногами хрустели лужи, и хруст еще бродил следом, разбиваясь о дома. Вдалеке обозначилась тень: онаправляла нужду на собачью будку.

Евгений Сологуб родился в Петрозаводске, окончил филологический факультет ПетрГУ. Живет в Санкт-Петербурге.

Неоновая вывеска бессмысленно горела, приманивая к себе мотылящихся странников. Перед тем как зайти, я записал просьбу на листочке и вложил в нагрудный карман пальто. Мокрый снег начал лезть за шиворот, прибавляя стоянию злобу.

Холл гостиницы был разделен нефом, с потолка разливалась пышным стеклом шевелюра люстры. За стойкой уже порхала раскланистая улыбка администратора: лицо у девушки слегка опухло от нагрянувшего в работу сна, а пальцы елозили по бортам темно-синего жакета. Она старалась задиристо выглядеть, но из-за вздернутого носа и вскинутой головы походила на бесенка. Видимо, я приветливо улыбнулся, потому что она зарделась и спросила, какой номер мне нужен. Я протянул исписанный лист и обернулся.

В номер вошел один. За коричнево-красной дверью ждала кровать с дутым и объемным матрасом, зеркало в полстены напротив, холодильник, прикроватная тумбочка, журнальный столик с меню гостиничного ресторана, шкаф-купе и ванная. Повесив на плечики черный шерстяной костюм, белую рубашку, закинув на полку черную пару ботинок на толстой каучуковой подошве, я сел на край кровати. Тело стало потом.

Смывая налипший путь, я не разворошил в себе ни одной мысли. Простирнул рубашку под холодной водой. Это помогло мне заснуть. Хотя ночью я нашел себя на подоконнике: прислонившись к ледяному стеклу, я выслушивал, как в щелях деревянной рамы, хныкотно запыхавшись, бродил ветер.

Смачивая неокрепшее после сна горло холодным молоком, решил навестить Василису. Окно едко светилось, голые ветви плавали на ветру, и солнце яркой кляксой пробивалось сквозь пепельную промокашку неба. Птичий щебет завоевывал уши. Я вышел взглядом на улицу: оживленное движение машин по ноздреватой, обглоданной бурыми лужами дороге вернуло мне ощущение реальности. Внизу, под окном, вдоль стены гостиницы тянулась муравьиная вереница покрытых черными платками людей. Продолжительное всматривание в народный гурт сделало молоко обжигающее белым для глаз. Я занавесил день и вернулся в сумрак.

Рубашка запасной кожей висела на извилине батареи. В дверь стучали, но я подмывался и не мог открыть. Замок щелкнул, я хлопнул пластиковыми створками душевой. Кто-то снаружи ахнул и пропал.

Свежий аромат вычищенного тела радовал нос. Рубашку я гладить не стал. Застегнулся на все пуговицы, прикрылся пиджаком и с пальто под мышкой вышел в коридор. Там, в ковролиново-дверной перспективе, одиноко стояла навьюченная тележка горничной.

За стойкой меня ждал пунцовый мужчина с рыжей бородой, щетина которой, видимо, мешала прогулкам воздуха и голоса, поэтому он сопел и держал свой плюсовый рот приоткрытым, при каждом слове танцуя губами. Он ухабисто прошелся по ушам: «Доброе утро! Во сколько вас ждать? Сегодня по всем вопросам обращайтесь ко мне. Николай». Брячаще оставил ключ на стойке, я понимающе кивнул и вышел в прохладу. Замотав горло шерстяным шарфом, я глядел в спину той муравьиной очереди. Дразня любопытство, пошел в другую сторону. Телефон мертвел на дне кармана. Запястье чувствовало себя вольготно — часы забыл в ванной.

Я шуршал рассыпанным по асфальту гравием. Через когтистый сквер от меня печально и нагло стоял ряд пятиэтажек, прерываемый разбросанными наугад деревянными домами в один и два этажа. Метлы тополей царапали небо, но тучи не уходили. В коричневых лужах мрело отражение мира, а я вдыхал простуженно-гнилистой чад земли с запахом дыма, что по-речному резво тек из кирпичных труб. Дорога расслаивалась на трезубец выбора. Я решил двигаться левее и вышел к берегу реки. Дома здесь стояли с резными стрехами и коньками, а на мосле холма, вдалеке, серел в тумане абрис храма. По-моему, тогда, во время прогулки, в душу юркнула вина, но в хронологии я не силен.

Я спустился к деревянному продавленному пирсу. Ворсистый слой снега и льда обращал речную губу в остов фундамента забытой историей крепости. В некоторых окнах по берегу горел свет.

Люди шли навстречу и в движении вымеряли меня с ног до головы, стараясь не задерживаться в глазах. Церковь оказалась деревянной: серое, иссохшее дерево забора было приятно на ощупь. Моя ладонь скользила по морщинам старики, его сухой, высущенной солнцем и временем коже. Вокруг приятно пахло медовым воском. На тень легла кисть, забористо шмыгнула и хихикнула: «Понимаю! Меня с похмелюги тоже в церковь тянет». Я повернул назад, задевая взглядом тяжелые берцы в серой засохшей грязи. Голос еще бродил за спиной: «Да ухожу я, ухожу. А надо, так похмелить могу».

На лоснящейся людьми улице я зашел в заполненное тучным, прогорклым духом кафе. Выпил кофе и протянул на салфетке просьбу зарядить телефон. Официантка выдернула ее из рук и кичливо заметила: «До двух ночи работаю». Я кивнул и вышел, еще успев ухватить: «У меня парень есть вообще-то».

Маршрутки и автобусы ехали, переваливаясь. На застекленных остановках ватно сидели люди, и всё почему-то неизменно приятно было для глаз. Забираясь глубже в пальто, снова вышел на центральный проспект и повернулся в сторону гостиницы. Очередь по-прежнему кнутом лежала на улице, вилась к трапециевидному огарку здания из темно-красного кирпича. Я прошел в ее начало. Она впадала в калитку чугунного забора, ноги людей шаркали по дощатому настилу. Черными застывшими яблоками висели на ветках дрозды. Мятые скомканные лица глядели из-под платков и шапок. Это мне напомнило о будущем.

Возвращаясь в гостиницу, я выхватил из смазанной блеклой полосы глаз *ее* — серебряно-голубые, проглядывающие из чернозема траура.

В номере я достал со дна саквояжа зарядное и безвидно глядел на ярко-синий маячок в углу телефона. Постель была заправлена. Полоз света лежал на моих коленях. Никого не было во мне.

День иссякал. Очередь под окном исчезла. Я решительно бросился собирать вещи, но у шкафа опомнился и вышел в коридор. Уже в холле не нашел на ногах ботинок и вернулся в номер.

Я встретил Василису за углом покосившегося забора. Она курила, и глаза ее походили на сизую пару друзей, в ностальгии собравшихся у костра. Я прошел мимо, хотя и видел, как рука ее взметнулась и зависла над покрытой платком головой. Брел, прислушиваясь к треску ее шагов, пронзающих стекло льда, но не оборачивался. Мне было интересно, сколько она готова отдать молчания за встречу.

Дорога вырывалась из-под ног, искрилась от фонарных слюней. Сквер был небольшой — мы прошли его насквозь. Я по-прежнему не оборачивался. На одной из реечных скамеек обломками мрака сидели тени с кистями-бутылками. При виде нас они прирезали речь, мерцая глазами из-под меховых ушанок. Сквер оборвался.

Расстегнув пальто, я перелез через забор. «Интересно, как она справится с юбкой?» — усмехнулся я и провалился по щиколотку в сугроб. Пересядя забытый участок с двухместными качелями и домиком-вагончиком, остановился у пронзительного журчания. Мне показалось, что кровь изнутри подшептывает, переговаривается с потоком. Я сел на корточки, ощупал стылый камень, застланный шелухой лишайника. Василиса опустилась рядом. Клубы дыхания растворялись в пространстве. Бледное пятно белело на коленке, и лесенка зацепки сползала на голень. Взгляд затих перед собой. Она поднялась. Слова, забродившие во время пути, сошли на нет.

— Мы давно уже здесь не живем. Ты зачем приехал?

Я пожал плечами. Встал и запустил снежок в чернильную воду. Руки стыло

кололо от холода. Утопая в снегу, она прошла к дому наших детских встреч. На пороге приподнялась на носочки и пошарила ладонью по крыше.

Запах дерева, земли и плесени вошел в меня памятью. Сердце выстрелило кровью, а во рту обозначился вкус соленых грибов и топленого сала с картошкой. Отец сидел на кухне в дырявой футболке в жирных потеках и шкрябал по дну чугунной сковороды, добирая остатки. Красновато-янтарный огонь разбрасывал по стенам комнаты тени, стрекотал исчезающим деревом за шлемом заслонки. В бороде его застряли пригоревшие дольки желтоватого картофеля, а он только улыбался и лоснился жирными губами.

Она поставила керосиновую лампу на столик и по-прежнему носила перед собой дыхание. Я сел на табуретку. Свет не прибавил пространству мебели. В обрызганном мглой углу стояла буржуйка, плетеные корзины, остатки дров бродяжно лежали рядом, стену за мной заслонили полки, заставленные пустыми мутными банками. Она села напротив. В землянках ее зрачков я не обнаружил ни безумия, ни бессилия. Она и сама походила на дом. Попытала улыбнуться, но лицо от холода не слушалось.

Единственное окно справа от меня мрачнело зеркалом. Я вновь ощутил приступ вины и встал, чтобы уйти.

— Изdevаешься?

Я кивнул. Спохватился. Помотал головой. Она сладко улыбалась огню, плоско горящему в ракитном пузе лампы. Тени ее пальцев пропитали стены.

В номере она забралась с ногами на подоконник. Тепло размяло тело. Ступни, кисти и лицо горели. В светлой комнате она вернула свои глаза, смотрела ими в бокал, на запеченную рыбку. Проходя в ванную, задержалась у пиджака и потрогала ткань на ощупь, при этом кому-то в себе кивнула.

Под щебет воды я несколько раз пытался сформулировать мысль, но пиджак и ее пальцы на обшлаге волновали сознание, буквы дергались и никак не унимались. Она вышла голая и растерянная. Оглядывая комнату заблудившимся взором, села на угол постели.

Я протянул ей подобие фразы. Упавшие на лицо волосы сочились росой, несколько капель скатилось на бумагу, сволновав гладь. Она отстранила блокнот, вместе с голосом возвращаясь из оцепенения, обронила:

— Остан... — а я заслонил воскресение слов губами.

Дух жженого сахара возвращал в мир. Ветер переговаривался с розовым ситцем занавески: точно скромничая и стесняясь, она отпрыгивала от окна. Собирая ногами холод пола, через гостиную я прошел в кухню. Помещение туманилось, матово-белесую поволоку прорезали лезвия солнечных лучей. Чугунная увесистая сковорода на плите сипела и шамкала, а рядом на незаженной конфорке стояла тарелка с пирамидой из хлебных тостов. В эмалированной миске в молоке, испещренном сгустками яичного желтка, плавали набухшие клочья пшеничного хлеба. Отец стоял с голым торсом, в шортах и смотрел в стену перед собой, но обернулся, когда я потянулся за хлебом. Лицо его было обращено в себя — с углублениями для носа, глаз, губ, лба — перевернуто и втянуто в череп. Он присел напротив и говорил, но голос обращался подавленным, зажатым подушкой кляпом. Тогда я подошел к нему и вложил свое лицо в его. Гулко и скрежеща лилась кровь, я продвигался в ущелье отца, объятый водой со всех сторон, с каждым шагом путаясь в сетях воздуха, и раскидывал руки перед собой, но никуда не шел, а провисал — под шелест крови и бубнящую присказку его голоса.

Василиса не шевелилась, но покрывалась мурашками, как окно дождевой моросью. Носом я повторил ее тело, пропахшее сном. На узорчатом кафеле ванной нефтяным пятном лежали испорченные колготки. Я подобрал их и скомкал в кулаке.

Ресепшин пустовал. Уже на улице я включил телефон. Сообщений не приходило.

Одно от матери. Позавчерашнее. Я мельком обошел город в голове, припоминая косметический и тому подобные магазины.

Кровать тосковала, но в складках простыни еще можно было различить, как она вытянулась, сбросила одеяло и, ступив на пол, скрылась. Я кивнул ее отражению в зеркале ванной.

— Взяла твою щетку.

Я ждал, пока она выйдет, разглядывая отделенные от торса ноги на упаковке колготок. Освободив ее от целлофана, написал поверх красных фигурных букв свои — широкие, печатные.

Василиса потускнела:

— Ты уверен?

Я не знал, кивнуть мне или нет. Над головой завыл фен. Все так же в пальто я лег на кровать и закрыл глаза.

Лето, пыльная дорога, рюкзак на спине, панама на голове, песок на зубах, грязные ноздри и усталость в ногах, мелкие камни колют ступни, язык обращается в пемзу и скребет нёбо, и кадык придавлен застывшей в гортани смолянистой слюной, в солнечном мареве простираются сочащиеся зеленью поля, снопы сена, зарифмованные с дорогой, что освобождает время от нашествия часов, и палящим ластиком солнца, что стирает биографию.

Одетая, Василиса легла рядом и задрожала сердцем. Она косилась на меня, но не смела поворачиваться, лишь пальцы юркнули на колено и затихли. Боясь лишний раз оформиться голосом, шепнула:

— Мне домой нужно. Собраться.

Всё было так же: стол-книжка, диван, пианино, сервант, книжный стеллаж в гостиной, маленькая кухня справа от прихожей, налево по коридору комната, в которой мы переходили границы ночи. Василиса скрылась за дверцей шкафа, к ногам упала дорожная сумка, следом, в неё, поток вещей. Она гнусаво и строго разговаривала по телефону, пока я смотрел на сочащийся бордовым повидлом творожный сыр. Чайное дыхание вихрилось, поднимаясь к ноздрям.

Когда она вышла в черном брюочном костюме и белой блузке, я вернулся в её комнату. Задвинул гардины, запустил ноутбук. Дневной поезд пришелся кстати.

Она также сидела на кухне, обнимая пальцами лицо. Паспорт лег перед ней на стол. Я взял сумку и вышел на улицу. Пятиэтажки были не очень приветливы и сторонились друг друга. Из слоя грязного снега с прорехами камня росла ржавеющая геодезическая вышка. Напротив, сопливя, женщина в берете отчитывала дворнягу. Пес, скалясь, вжимался в коричневую слякоть. Я по-прежнему не понимал, отчего глазам так больно смотреть на пространство.

Молодая девушка с пористо-алым лицом долго искала наши фамилии и хныкала голосом от неудачи. Все обошлось, и через пару минут зубчатое лезвие леса снова вонзалось в пепельное небо.

Лампа на потолке горела тусклой свечкой. Качка нагрузила веки, и сон не заставил себя ждать. Наверное, я и проснулся от ее слежки: голова стояла одногоним часовым на плечах, глаза бодались жалостью или ненавистью — не разобрать. Сколько ни встречал на лицах, всегда путал. Я проморгал несколько секунд в надежде, что Василиса успокоится. Но взгляд упирался ослом.

— Может, перестанешь?

Зевнул и прошелся ладонями по щекам.

— Я звонила твоей матери. Что ты хочешь доказать своим молчанием?

Улыбнулся, но ватное лицо, потерявшее силу за сон, скисло подобием нервного тика.

Под едкий чад хлорки, мокрой бумаги и застоявшейся мочи я пожалел, что поддался слабости. Вернувшись, сел рядом с Василисой и спрятал ее кисти в своих.

— Я тебе лишь в своей жалости и нужна...

Последние фразы прослушал — пощечины осами налетели на лицо.

По внутренним граням пузатого бокала стекали винные ножки. Бордовый морщинистый след от губ матовел на краю ободка.

— Всем будет легче, — взгляд матери украло окно, но она шевелила губами. — И мне и ему. Пусть хоть слово бросит, Лиса, скажи ты ему. Что упираться?

— Он уже не упирается. Вроде.

Василиса круговыми движениями водила стопку ликера по столу.

Я сморщился от острой боли в голове и вышел.

В светло-желтом кабинете в воздухе летала пыль. Клокот аппарата искусственной вентиляции легких и писк кардиографа заменял шум ветра и пение птиц. Руки его покоились вдоль тела. Челюсть пульсоксиметра прикусила указательный палец. Отец с пепельным лицом лежал на больничной койке. Я был уверен, что только громоздкая пластиковая трубка, сифоном торчащая изо рта, мешает ему улыбаться. Свежий весенний дух, просачивающийся в приоткрытую створку окна, вселял уверенность.

Занавески взметнулись, сквозняк прожурчал по стенам. Под клошком линий я поставил еще одну подпись.

Стол накрыли в гостиной. Все расселись по периметру и пили водку. Я лежал в комнате. Борясь с мутью в желудке, разглядывал геометрические узоры на обоях: они светились, плавали, распадались на линии. Хотел встать и пройти в кабинет отца, но солнце ласково тронуло макушку, и я не смог пошевелиться. Слышал сдавленный голос Василисы. Ее слезы, ее прощание. Уговоры матери.

Замок щелкнул.

Голоса уплотнялись, распадались, овладевали комнатами.

Я сидел на плечах у отца, собирая глазами белую ночь, улыбался ландшафту. Ребра смиряли объемистость легких, яркий смех улетал к мелу неба. Я искрился вопросом — отец отвечал: *сквозь землю страдания нашего туда, где течет молоко и мёд.*